Екатерина Дмитриева

ПЕРВЫЙ ЛИРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ А.С. ПУШКИНА «ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ» И ЗАГАДКА ЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ П.А. ОСИПОВОЙ[1]

Одним из первых крупных произведений, написанных Пушкиным вскоре после приезда его в 1824 году в Михайловское, был цикл «Подражания Корану». Что заставило поэта, оказавшегося в русской деревне, взиравшего на русскую природу, общавшегося с русскими крестьянами и слушавшего сказки своей няни, каждая из которых «поэма», обратить свой взгляд к Востоку? И почему этот ориенталистский цикл оказался посвящен тригорской соседке Пушкина П.А. Осиповой-Вульф?

В своей программной статье барон Н. Врангель одним из первых обратил внимание на некоторую двусмысленность русской усадебной культуры. «Странное дело, — писал он, — но в этой повести о прошлом какая-то особенная, может быть, только нам одним, русским, понятная своеобразная прелесть; прелесть грубого лубка, чудо простонародной русской речи, сказка песен, пропетых в селе, ухарство русской пляски. Всё — на фоне античных храмов с колоннами, увенчанными капителями ионического, дорического или коринфского ордеров. Пляска русских босоногих малашек и дунек в «храме любви», маскарад деревенских парней в костюмах богов и богинь древности. Или где-нибудь в Саратовской или Симбирской губернии — *девки-арапки с восточными опахалами* (курсив автора) на фоне снежных сугробов. Что может быть нелепее и забавнее, печальнее и умнее?»[2]

Говоря о филоориентализме, маркировавшем в целом и европейскую, и русскую культуру, в том числе и усадебную, не следует забывать и о том, что усадьба (как, собственно, и город) есть особого рода пространство, принципиально открытое синтезу европейской и восточной культур. Особенность эту можно было бы определить как не-

[1] Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00051-П [Электронный ресурс: https://rscf.ru/project/22-18-00051/].

[2] *Врангель Н.Н.* Старые усадьбы. Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1999. С. 26–27.

кую изначально присущую усадьбе претензию на всемирность. Являя собой вполне конкретный локус, обладая границей, оградой (само слово «усадьба», как, собственно, и слово «город», происходит от глагола «усадить» — обнести границей), усадьба пытается эту границу одновременно и удержать, и размыть, вобрав в себя мир или же заменив мир собою (что порой оказывается почти эквивалентным). Подобно тому, как остроумный П.А. Вяземский заметил однажды, что «Америка, Африка, Азия, куда Вольтер переносил свои драматические сочинения… не выдавались из ограды Парижских застав», а лирический герой В. Гюго (цикл «Восточные мотивы», 1829), глядя в окна парижского дома, прозревал в Париже Восток и восточную культуру, усадьба — своей архитектурой, внешним и внутренним убранством, развешенными по стенам гравюрами и картинами, высаженными в парке цветами — позволяла, не выходя за очерченные границы, путешествовать по миру (orbi). Путешествие это могло включать в себя в равной степени и Запад, и Восток, а порой и то и другое. Собственно, именно с этим связаны характерные для русского усадебного быта случаи уподобления русских усадеб как западному образцу, так и восточному. И наряду с загородными домами «во французском вкусе», «палладианскими дворцами на гальский лад», так называемым русским Версалем, мы имеем, например, и подмосковное Кайнарджи — бывшее имение Троицкое, в десяти верстах от Кускова, куда Екатерина II приезжала праздновать Кючук-Кайнарджийский мир и повелела переименовать имение в память того, что здесь среди роскошного пира не был забыт и мир с турками[3].

Но Михайловское было имением сугубо русским, с некоторым, правда, европейским налетом (сад в голландском стиле), и с явно русской ономастикой, в которой ничего не было от характерных Монплезир, Паради, Монмари и проч. Ничего восточного не было также в облике усадьбы Тригорское соседей Осиповых и Вульфов, которая стала для Пушкина в годы ссылки вторым домом. В отличие, может быть, от соседнего Петровского, родового имения Ганнибалов, в котором до 1825 года проживал двоюродный дед А.С. Пушкина Петр Абрамович Ганнибал, заведя там, по восточному обычаю (!), себе гарем[4]. Так почему же самое свое восточное по духу и стилистике произведение,

[3] *Дмитриева Е., Купцова О.* Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М., 2008. С. 23.

[4] См.: *Козмин Б.* Из рода Ганнибалов. М., 1997.

которое критики впоследствии нередко сравнивали с «Западно-восточным диваном» Гете, а именно стихотворный цикл «Подражания Корану», Пушкин пишет именно здесь, вскоре после своего приезда в ссылку, работая над ним с 26 сентября по 29 ноября 1824 года[5], — и посвящает его своей тригорской соседке Прасковье Александровне Осиповой-Вульф («П.А. Осиповой»)?

Разумеется, для Пушкина восточная тематика была не новой. Существует мнение, что знакомству Пушкина с Востоком, его поэзией еще в лицейские годы способствовал журнал «Вестник Европы», публиковавший начиная с 1811 года переводы из персидской и арабской литературы[6]. В 1818 году журнал «Вестник Европы» опубликовал статью Сисмонди «О литературе арабской», в которой большое место было уделено поэтике арабских сказок «1001 ночи». С их вольным переводом, выполненным А. Голланом, как и с французскими переводами и переложениями газелей Хафиза и «Завещания» Саади Пушкин скорее всего также мог познакомиться в лицейские годы. Сюда следовало бы добавить чтение восточных повестей и драм французских авторов — Вольтера, Монтескье, знакомство с оперой Моцарта «Похищение из Сераля», написанной на тему Востока, с балетами Шарля Луи Дидло на темы восточных сказок («Халиф Багдадский», «Ханзи и Тао» и другие[7]). Важным источником сведений о Востоке, его культуре и литературе для Пушкина был и домашний, хотя и недолго просуществовавший, театр графа В.В. Толстого, который находился в Царском Селе и который посещали лицеисты. На сценах его разыгрывались спектакли на восточные темы, и он же упоминается в стихах Пушкина 1813 года «К Наталье» (крепостной певице Толстого) и в стихах 1815 года «К молодой актрисе».

Важным было для Пушкина также и общение с его лицейским другом В.К. Кюхельбекером, который позже в своей знаменитой, хотя и обруганной критиками статье 1824 года «О направлении нашей поэзии,

---

[5] *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). СПб., 2019. С. 578.

[6] *Лобикова Н.М.* Пушкин и Восток. М., 1974. С. 11–18.

[7] Балеты Дидло Пушкин дважды упоминает в «Евгении Онегине», сначала в собственной оценке («Там и Дидло венчался славой, / Там, там под сению кулис / Младые дни мои неслись»), а затем в оценке Онегина («Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел»). См.: *Томашевский В.Б.* Пушкин (1813–1824). Кн. 1. М. ; Л., 1956. С. 263.

особенно лирической, в последнее десятилетие» (Мнемозина. 1824. Ч. 2) будет говорить об обращении к восточной поэзии как актуальной задаче русской литературы[8].

Восточный след исследователи с разной степенью достоверности обнаруживают и в других произведениях Пушкина лицейского и раннего петербургского периода: армянское предание, которым Пушкин будто бы воспользовался при написании «Гавриилиады»[9]; поэму Фирдоуси «Шахнаме», следы которого обнаруживаются в поэме «Руслан и Людмила», частично — через текст-посредник, которым была «Повесть о Еруслане Лазаревиче», сама представлявшая собой переделку отдельных эпизодов из «Шахнаме»[10].

Поэтические впечатления от встречи с «живым Востоком» находят отражение в кишиневско-одесский период в южных поэмах, ставших в русском сознании своего рода аналогом и заместителем восточных поэм Байрона[11]. Запад (Европа), олицетворением которого предстает пленник, и Восток (черкешенка) сталкиваются в поэме «Кавказский пленник». С эпиграфа, заимствованного из изречений Саади, начинается поэма «Бахчисарайский фонтан» («Многие, так же как и я, посещали сей фонтан, но иных уже нет, другие странствуют далече»). Однако восточная поэма «Бахчисарайский фонтан», как и «Кавказский пленник», была порождена, при всех иных литературных и прочих импульсах, конкретными крымскими впечатлениями. В Михайловском же всё происходило наоборот: восточный сакральный текст становится в это время заместителем «живых впечатлений», но очень важным (виртуальным) поводом для разговора о глубинных проблемах пушкинского бытия.

Автор первой критики на «Бахчисарайский фонтан» М.М. Карниолин-Пинский, отмечая удачу Пушкина в воспроизведении восточного колорита в поэме, писал: «…стихи… проникнуты духом восточных обычаев и цветут азиятскою роскошью, подчиненною законам

---

[8] *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи / изд. подгот. Н.В. Королевой, В.Д. Раком. Л., 1979. С. 456–457.

[9] *Гуланян С.А.* К вопросу об источниках «Гавриилиады» // Пушкин и литература народов СССР. Ереван, 1975. С. 383–401.

[10] *Атаханов Д.Т.* Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина: дисс…. на соискание ученой степени канд. филол. наук. Душанбе, 2000. С. 42–44.

[11] См.: *Жирмунский В.М.* Байрон и Пушкин: из истории романтической поэмы. Л., 1924.

образованного вкуса». Примечательно, что данный, чуть ли не единственный в то время отклик невольно «воспроизвел» требование, которое сам Пушкин предъявит к изображению Востока, объясняя, почему восточным поэмам Томаса Мура он предпочитает Байрона. «Кстати еще — знаешь, почему не люблю я Мура? — писал Пушкин Вяземскому в письме от конца марта — начала апреля 1825 года уже после того, как «Подражания Корану» были написаны, — потому что он черес чур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. — Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранять вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так и прелестен в Гяуре, в Абидосской невесте и проч.» (XIII, 160).

Авторы, которых Пушкин назвал Вяземскому, были основными, кто задавал уже в 1820–1830-е годы в России моду на ориентальную тему[12]. И именно восточная поэма «Лалла-рук», французский перевод которой он прочел еще в 1821 году (ее переведет позже на русский язык В.А. Жуковский), послужила ему одним из первых источников его знакомства с Кораном (цитаты из Корана приводились Муром в многочисленных авторских примечаниях).

Дискуссионным остается вопрос, мог ли хотя бы отчасти инспирировать обращение Пушкина к Корану «Западно-восточный диван» Гете (1819). А ведь друг Пушкина Кюхельбекер, к мнению которого он прислушивался, составил в 1825 году краткий конспект, содержащий имена, хронологические даты и заметки для памяти об арабской и персидской поэзии, извлеченные из исторического аппарата к стихотворениям «Дивана»[13]. И хотя сам конспект относится к чуть более позднему времени, вполне возможно, что какие-то разговоры о «Западно-восточном диване» между Пушкиным и Кюхельбекером шли еще в лицейские годы.

В Записной тетради Пушкина стихи цикла «Подражания Корану» соседствуют с беловым с поправками автографом стихотворения

---

[12] Осенью 1824 года, когда Пушкин работал над «Подражаниями…», вышел, в частности, сборник А.А. Шишкова «Восточная лютня». Библиографию «восточных стихотворений» в русской печати 1820–1830-х годов см.: *Тартаковский П.И.* Русская поэзия и Восток. 1800–1950: опыт библиографии. М., 1975.

[13] *Востоков А., Кюхельбекер В., Розен Е., Тютчев Ф., Огарев Н., Чернышевский Н., Толстой А.* Неизданные переводы из Гете // Литературное наследство. Т. 4/6. М., 1932. С. 663–665.

«К морю», наброском «Как узник, Байроном воспетый…» (рядом со стихотворением на левом поле — рисунок: ноги в восточных шароварах), черновым автографом XLI строфы третьей главы «Евгения Онегина», автографом «Разговора Книгопродавца с Поэтом»[14], что позволяет хотя бы отчасти восстановить мыслительный и творческий контекст работы Пушкина над циклом: Крым, судьба Наполеона, русская деревня, миссия поэта и бытовые условия его существования.

При этом известно, что в истории творческих интересов Пушкина в михайловский период работу над подражаниями священной книге мусульман сменил интерес Пушкина к библейским текстам. Пытаясь найти адекватные поэтические средства (прежде всего лексико-фразеологические) для воспроизведения «восточной», мусульманской экзотики, Пушкин одновременно экспериментирует с поэтикой высокой духовной лирики (к середине 1820-х годов она снова оказалась востребованной, пример чему являет Ф. Глинка[15]). Впрочем, обращение к библейской образности и стилистике могло быть подсказано и самим текстом Корана, в котором содержится немало заимствований из библейских книг и отсылок к ним, о чем писал в предуведомлении и русский переводчик Корана М.И. Веревкин (1732–1795), переводом которого пользовался Пушкин («Слог Аль-Корана везде прекрасен и текущ, паче же на местах подражательных речениям пророческим и стихам библейским»[16]).

Как уже отчасти было сказано, в изданиях «Стихотворений» Пушкина 1826 и 1829 годов «Подражания Корану» печатались с посвящением «П.А. Осиповой», соседке Пушкина и хозяйке соседнего имения Тригорское. Сам факт этого посвящения в исследовательской литературе объясняется, как правило, двумя факторами: тем, что русский перевод Корана, сделанный Веревкиным, Пушкин мог найти в библиотеке Тригорского (предположение, на самом деле, гипотетическое, описанием этой библиотеки, сделанным Б.Л. Модзалевским, по необходимости неполным, не подтвержденное[17]). Второе гипотетическое объяснение

---

[14] *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 577, 579, 580.

[15] См. подробнее: *Бодрова А.С.* Подражания Корану // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 4: П—Р. СПб., 2020. С. 193.

[16] *Фомичев С.А.* «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла // Временник Пушкинской комиссии, 1978. Л., 1981. С. 22–45.

[17] *Модзалевский Б.Л.* Поездка в с. Тригорское в 1902 году // Пушкин и его

основано на том, что по крайней мере какая-то часть «Подражаний Корану» создавалась в сентябре — ноябре 1824 года непосредственно в Тригорском, где Пушкин после ссоры с отцом, Сергеем Львовичем, согласившимся стать «попечителем» сына, проводил большую часть времени.

Но задумаемся: могло ли только это — физическое пребывание в Тригорском в период создания «Подражаний Корану» и гипотетическое чтение Корана в переводе Веревкина из библиотеки Тригорского — стать причиной посвящения Осиповой такого важного для Пушкина поэтического цикла? Осипова, которую Пушкин в 1819 году называл с юношеской беспечностью «милой старушкой», безусловно становится в 1824 году близким для него человеком. Ей в михайловский период Пушкин посвятит предельно автобиографическое стихотворение «Презрев и голос укоризны» (датировано последними числами октября 1824 года), замысел которого был связан с планами побега Пушкина за границу.

П.А. Осипова тогда вмешалась и в конфиденциальном письме к Жуковскому от 22 ноября 1824 года попыталась Пушкина защитить: «Если Алекс[андр] должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас русских его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть… Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близь лежащих к ней, через Альпы, земель полезен для русских орлов, — и оный не будет вреден нашему, то пускай останется то, что теперь написала, вечною тайною. Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет»[18]. В этом контексте представляется значительным (хотя и слабо верифицируемым) рассказ А.Н. Вульфа, сына Осиповой, о том, что Пушкин собирался бежать из России под видом его крепостного слуги[19].

Осиповой-Вульф было посвящено и стихотворение под заглавием «П.А. О<сиповой>» («Быть может, уж недолго мне…») (1825), автограф которого без заглавия, но с пометой под текстом: «С<ело> Михайлов-

современники. СПб., 1903. Вып. 1. С. 19–52; см. также: *Мальцева Т.Ю.* Пушкин — читатель тригорской библиотеки // Пушкинский сборник. Псков, 1962. С. 33–43.

[18] Впервые напечатано в: Русский архив. 1872. № 12. Стб. 2361–2362.

[19] *Семевский М.И.* Прогулка в Тригорское: биографические исследования и заметки о Пушкине / вступ. ст., сост. и примеч. С.В. Березкиной. СПб., 2008.

ское. 25 июня 1825» был записан в так называемый большой альбом П.А. Осиповой, местонахождение которого ныне неизвестно[20]. В нем тоже речь шла о поэтическом побеге — но на этот раз не тайном: весной Пушкин отправил на высочайшее имя прошение о позволении ему выехать в Европу для лечения аневризма. Это позволение он так и не получил (ему было рекомендовано лечиться в Пскове), однако послание «П.А. О<сиповой>» создавалось в ожидании ответа, когда отъезд еще казался возможным.

Еще одно стихотворение, посвященное Пушкиным Осиповой в михайловский период и содержащее дату «1824 г.» (хотя, возможно, написанное позже), — «Цветы последние милей…», копия которого имеется в альбоме-футлярчике П.А. Осиповой с пояснительной пометой над текстом ее рукой: «Стихи на случай в позднюю осень присланных цветов к П<ушкину> от П<расковьи> О<сиповой>»[21]. Стихотворение загадочное, по сути, признание в любви, модальность которого не раз вынуждала и мемуаристов, и исследователей строить догадки об особом отношении Пушкина к Осиповой, вплоть до их возможной обоюдной гипотетической влюбленности друг в друга. Так, А.М. Ариштейн сближал «Цветы последние милей…» со стихотворением «Виноград» (1824), считая, что это «два типологически близких стихотворения», намекающие на предпочтение, отданное немолодой женщине[22]. Еще фантастичнее была версия С.М. Громбаха, согласно которой в стихотворении отразились переживания, вызванные отнюдь не Осиповой, но вторичным посещением Тригорского А.П. Керн в начале октября 1825 года, когда между Пушкиным и нею «по-видимому, произошла размолвка»[23].

---

[20] Первые сведения об альбоме Осиповой, который в Тригорском называли «большим», были даны в статье М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское». Альбом хранился у дочери Осиповой баронессы Е.Н. Вревской в имении Голубово. Последней владелицей альбома была внучка Вревской кн. А.А. Хованская. Впоследствии был утерян (или похищен). См. подробнее: *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 717.

[21] *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 775–776.

[22] *Ариштейн Л.М.* Пушкин: Непричесанная биография. М., 1998. С. 80.

[23] *Громбах С.М. «*Цветы последние милей» / Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. 1989. С. 103–105.

Как бы то ни было, до нас дошли три стихотворения, посвященные Осиповой — одно о побеге, другое о расставании, третье — почти что признание в любви. И, наконец, цикл «Подражания Корану».

Интерпретаторами лирики Пушкина давно уже были предложены различные модальности истолкования цикла: эстетическая («форма»), религиозная, наконец, автобиографическая[24].

Думается, что определенным ключом к загадке имени Осиповой-Вульф, вписанной в текст «Подражаний Корану», может послужить именно тот автобиографический подтекст, который не только сопровождал работу над циклом (это очевидно), но и тот, который оказался в них сокрыт, или зашифрован. Надо сказать, что в этом смысле у Пушкина был прецедент, причем в непосредственном его окружении: то был перевод Жуковским второй части из той самой восточной поэмы «Лалларук», который он озаглавил «Пери и ангел» — и в которую поэт вписал историю своей влюбленности в великую княгиню Александру Федоровну, жену великого князя Николая Павловича (Николая I) (см. подробнее в комментарии Э. Жиляковой[25]).

Остановимся же на том, что в этих подражаниях мусульманским сакральным сурам предстает как эмблема собственных жизненных испытаний Пушкина. Подобный поиск автобиографических проекций в произведениях отнюдь не автобиографического жанра — дело рискованное и чреватое одновременно фантазийностью и банальными упрощениями. В некотором отношении нас оправдывает то, что начиная с XVIII века Восток, восточные сюжеты нередко служили ширмой, за которой скрывалось отнюдь не восточное, но очень современное содержание. Вспомним, например, «Нескромные сокровища» Дидро или «Неадарне» Кребийона-сына.

В контексте житейской ситуации Пушкина осени 1824 года обращает на себе внимание тема преследования и спасения, которая появляется в переложении суры 7 Корана «Робкий» — у Пушкина «Восстань, боязливый…». Примечательно, что упоминание о пещере, в которой чудесным образом спасался от вражеского преследования пророк,

---

[24] См., напр.: *Нольман М.Л.* Западно-восточный синтез в произведениях Пушкина и его реалистическая основа // Народы Азии и Африки. 1967. № 4. С. 116–126.

[25] *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. / гл. ред. А.С. Янушкевич. Т. 4. Стихотворные повести и сказки / сост. и ред. А.С. Янушкевич. М., 2011. С. 404–414.

в оригинальной суре отсутствует. Мотив этот восходит, по-видимому, к предпосланному переводу Савари жизнеописанию Магомета[26].

Там же описано, как Магомет «оживил» высохший колодец и напоил войско, умиравшее от жажды. Тот факт, что Пушкин сознательно допускает «вольность» в своем подражании, интонирует сюжет как особо для него важный. Сюжет, личностно важный для того, кто сам убегал от преследующего его врага (читай: родной отец, С.Л. Пушкин, а возможно, и царь) и кто чудесным образом оказался спасен именно той, кому и посвящен данный цикл: «Кого же в сень успокоенья / Я ввел, главу его любя, / И скрыл от зоркого гоненья»[27].

В свое время, характеризуя «восточное царство» в своей работе «Философия права», Гегель писал: «В великолепии этого целого индивидуальная личность бесправно исчезает, внешняя природа непосредственно божественна или есть украшение бога, и история действительности есть поэзия… Тут сердце и ум, не оформляя для себя бога как объект, внутренне примиренные в живой радости и, подобно нищим, счастливо наслаждаются…»[28]

Идея пророческой миссии поэта, возрождения жизни через смерть, вера в силу слова — это именно то, что так необходимо было Пушкину, особенно в первые кризисные месяцы пребывания в Михайловском, когда он вдвойне чувствует себя пленником — испытав «неправое гоненье»: и внешнее (царя), и семейное (отца). Отсюда и строки: «Мужайся ж, презирай обман, / Стезею правды бодро следуй», а также строки, адресованные богом пророку Мухаммеду: «Не я ль язык твой одарил / Могучей властью над умами», прямо предвещающие пушкинского «Пророка», настолько звучащего именно по-пушкински, что в нем

---

[26] См.: *Пичхадзе А.А.* «Подражания Корану. 1»: Источники и ассоциации // Русская речь. 1992. № 1. С. 15–18; *Фомичев С.А.* «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла; *Бодрова А.С.* Подражания Корану // Пушкинская энциклопедия.

[27] Несколько наивно звучащий вывод исследователя о приведенных строках на самом деле достаточно точен: «Нам представляется, что они (строки) вызывают в памяти образ Осиповой Прасковьи Александровны — соседки поэта по имению, владелицы Тригорского, которая после ссоры Пушкина с отцом как преданный друг предоставила ему «сень успокоенья», обласкала его вниманием и «скрыла от зоркого гоненья». См.: *Атаханов Д.Т.* Восточные мотивы в творчестве Пушкина. С. 66.

[28] *Гегель Г.В.Ф.* Философия права / пер. с нем.; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. М., 1990. С. 375.

далеко не сразу заметили кораническую основу — 94-ю суру Корана: «Разве мы не раскрыли тебе твою грудь? / И не сняли с тебя твою ношу, / Которая тяготила твою спину»[29].

Источником четвертого «Подражания Корану» послужили поучения из второй суры Корана, представляющие собой притчу о споре правителя Месопотамии Нимрода с мифическим библейским патриархом Авраамом (Ибрахимом) о том, кто более могуществен — он (царь) или бог. В Коране это выглядит так: «Так вот, сказал ему Ибрахим: «Мой Господь — тот, кто оживляет и умерщвляет». Царь возразил: «Я оживляю и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Воистину Аллах заставляет восходить Солнце на Востоке, заставь же его взойти на Западе».

Пушкин обостряет течение конфликта тем, что с царем, считающим себя всемогущим, спорит сам бог, а не его пророк: «С тобою древле, о всесильный, / Могучий состязаться мнил, / Безумной гордостью обильный. / Но ты, господь, его смирил». И вводит к тому же реплику царя, отсутствующую в Коране: «С тобою, боже, равен я», завершающуюся строками: «Но смолкла похвальба порока / От слова гнева твоего. / Подъемлю солнце я с Востока; / С заката подыми его!»[30]

И не сокрыто ли за этими строками то обостренное и болезненное отношение к царю земному Александру, причине его изгнаний, которое у помудревшего Пушкина уже снимается в его знаменитом «19 октября» (1825):

Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей[31].

Среди оставшихся в черновиках стихотворений и набросков Пушкина михайловского периода мы находим строки, датируемые не ранее первой половины февраля 1825 — не позднее января 1826 года:

В пещере тайной (?) в день гоненья
Читал я сладостный Коран.
Внезапно Ангел Утешенья,

---

[29] *Атаханов Д.Т.* Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина. С. 86.

[30] См. подробнее: *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 598–599.

[31] Там же. С. 77.

Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила
Слова святые начертила
На нем безвестная рука[32].

По предположению С.А. Фомичева, набросок представлял собой «первоначальную редакцию» двух «Подражаний Корану»: VII («Восстань, боязливый…») и I («Клянусь четой и нечетой…»)[33]. По предположению П.В. Анненкова, «автор здесь набрасывает первый очерк известного стихотворения «Талисман» и заставляет говорить мусульманина, не имея нисколько намерения показать сладость Корана и ангелов Магомета, что было бы совершенною нелепостию»[34]. Не вдаваясь в текстологические и концептуальные споры исследователей, по-разному интерпретировавших набросок, отметим именно то, что касается интересующей нас темы. Вне зависимости от того, будем ли мы считать эти строки наброском подражаний сурам Корана или же давать этому «не реализованному во всей полноте замысла» замыслу «биографическую интерпретацию (ситуация прощания на юге с Е.К. Воронцовой[35]), чтение «сладостного Корана» предстает в этих строках у Пушкина родом волшебного перстня. Того самого перстня, что позволяет (да простится мне эта аналогия) изрекать, как в «Нескромных сокровищах» Дидро, то сокровенное, что лишь под действием его таинственной магии (не случаен этот настойчиво повторяющийся эпитет «таинственный») позволяет узреть незримое, что открывается «святым словам».

Но, может быть, самое интересное для нас то, что в этих семи неполных строках (стихах) словно прочерчена связь, соединившая два жизненных периода и две поэтические темы, непроизвольно рифмующиеся: Коран и Талисман.

Когда-то по решению директора Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко в экспозиции дома-музея в Тригорском была помещена лубочная картинка «Талисман» с изображением двух восточных

---

[32] См. подробнее: *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 135.

[33] *Фомичев С.А.* «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла. С. 24–25.

[34] *Анненков П.В.* Любопытная тяжба // Вестник Европы. 1881. № 1. С. 16–43.

[35] *Пушкин А.С.* Том третий, стихотворения. Книга первая (Михайловское. 1824–1826). С. 1027.

красавиц, извлеченная из «Альбома северных муз (Альманах на 1828 год)», под которой фигурировали пушкинские строки «Там, где море вечно плещет…». Что заставило С.С. Гейченко пойти на столь нелогичный шаг? Ведь само стихотворение «Талисман» было написано в 1827 году в связи с приездом в Петербург Е.К. Воронцовой и не имело тем самым отношения ни к Тригорскому, ни к михайловской ссылке поэта.

И всё же можно сказать, что имело. Потому что акцентировало внимание на том Востоке, который оказался в Михайловском для Пушкина спасительным — как воспоминание и одновременно как поэтическая задача, выполнение которой связывается отныне с тригорским домом и его хозяйкой П.А. Осиповой-Вульф.